

Мемуары профессора пореформенного времени*

Andrey Mamonov

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)

Memoirs of a reform-era professor

Воспоминания историков представляют особый интерес, и прежде всего — для самих историков. Человек, профессионально изучающий прошлое, привычно (пусть и не всегда удачно) вписывающий любое событие в контекст минувших столетий, как правило, остро ощущает и течение «своего» времени. Тем более если это время стремительных перемен во всех сферах общественной, научной, да и просто повседневной жизни, с которыми сталкивается молодой, кипучий учёный, с головой погружающийся не только в академические штудии и античных авторов, но и в злободневную публицистику, университетские конфликты, споры о судьбах русской школы и образования, а осмысливается это через одно-два десятилетия (в 1883—1885 гг.), когда впечатления ещё довольно свежи, дистанция покуда не мешает различать детали, но она уже достаточно велика и позволяет передать динамику и масштаб пережитого. Именно таковы мемуары профессора римской словесности Василия Ивановича Модестова (1839—1907), собранные и подготовленные к печати коллективом исследователей, глубоко знающих особенности университетов пореформенной России. В составлении книги и комментировании текстов приняли участие доктора наук А.Е. Иванов, А.И. Любжин и В.С. Шандра. Их работу нельзя не признать примером успешного сотрудничества московских и киевских историков.

Собственно воспоминания Модестова публиковались ещё при его жизни в различных журналах (с. 13), доступных теперь не только в библиотеках, но и в Сети. Однако в разрозненном виде эти очерки как-то затерялись в историографии и почти не привлекали к себе внимания специалистов. Сейчас, когда они собраны воедино и дополнены ранее не

издававшимися письмами В.И. Модестова к В.С. Иконникову, А.Ф. Кистяковскому, И.В. Лучицкому, выявленными В.С. Шандрой в Институте рукописей Центральной научной библиотеки НАН Украины им. В.И. Вернадского, читатели должны оценить их по достоинству.

Модестов принадлежал к поколению профессоров-шестидесятников, начинавших свою деятельность непосредственно после введения университетского устава 1863 г. Уникальность его воспоминаний, помимо прочего, связана и с тем, что во второй половине 1860-х гг. он побывал на кафедрах в трёх провинциальных университетах, находившихся в разных частях империи и разительно отличавшихся своей историей и атмосферой. Едва защитив в 1864 г. в Петербурге магистерскую диссертацию о сочинениях Тацита, он становится доцентом только что учреждённого в Одессе в 1865 г. Новороссийского университета, но уже осенью 1867 г., женившись, переезжает в Казань, поскольку «прибавка в 800 рублей к моему доцентскому жалованью сделалась для меня драгоценною» (с. 44). Летом 1869 г. вновь переезд, на этот раз в Киевский Университет св. Владимира, где Василий Иванович, уже получивший докторскую степень, избран ординарным профессором (через два дня после избрания на эту же должность в Казани). Семь лет спустя, в сентябре 1876 г., Модестов «выехал из Киева с пламенным желанием никогда более туда не возвращаться» (с. 98). С конца 1870-х гг., обосновавшись в Петербурге на посту профессора духовной академии, он превращается в заметную фигуру в либеральном кружке, образовавшемся вокруг редакции газеты «Голос» (В.А. Бильбасов, А.Д. Градовский), и втягивается в борьбу с М.Н. Катковым и министром народного

* Профессор В.И. Модестов. Воспоминания, письма. М.: Принципиум, 2014. 416 с.

просвещения гр. Д.А. Толстым, являвшимся одновременно обер-прокурором Святейшего Синода. После серии критических статей о постановке классического образования в России Модестову предложили (буквально за несколько недель до отставки самого гр. Толстого) покинуть государственную службу, угрожая уволить без прошения. В 1883 г. гр. Толстой, возглавивший МВД, прекратил издание «Голоса». Характерно, что вернуться на кафедру Модестов смог только в 1889 г., когда граф скончался. В 1893 г. Василий Иванович завершил свою педагогическую деятельность там же, где начал — в Одессе, после чего сосредоточился на сугубо научных изысканиях (с. 367–368).

В воспоминаниях Модестова прежде всего бросаются в глаза огромные пространства империи и удалённость различных её частей друг от друга. Так, в середине 1860-х гг. «наиболее комфортабельным путём из Петербурга в Одессу был путь через Варшаву и Вену» — по Дунаю и Чёрному морю или же через Лемберг и Кишинёв. Проезд по российской территории (через Варшаву или Москву на Киев или даже через Нижний Новгород на Царицын и Ростов) занимал больше времени и был гораздо утомительнее (с. 21–25). Осенью 1867 г. железная дорога «далее Тулы к югу не простиралась» (с. 44). Впрочем, уже летом 1869 г. по ней можно было проехать от Нижнего Новгорода практически до самого Киева (с. 55).

И всё же эта обширная и бедная коммуникациями территория, со множеством региональных отличий, оказывалась связанной единой интеллектуальной средой и прочными нитями государственной службы, которые делали возможными и успешными подобные перемещения молодого доцента, чуть ли не в дороге становящегося профессором. Сказывалась и цивилизационная близость. «Казань, при въезде в неё, показалась мне хорошим провинциальным русским городом московского типа, — отмечал Модестов. — Этому впечатлению не мешала её татарская часть, которая составляет лишь предместье города и может быть рассматриваема как отдельное целое» (с. 45). Довольно неуживчивый мемуарист, который едва переносил

этот «русско-провинциальный облик», «всегда любил Петербург и с трудом представлял себе возможность для человека, знакомого с удобствами европейского города, жить в России вне столицы нашего государства» (с. 21), одинаково легко вписывался в состав «университетской корпорации» и в Одессе, где она только возникала, и в Казани, где у неё уже сложились крепкие традиции.

Тяжелее всего ему пришлось в Киеве. «Я чувствовал, — вспоминал Модестов, — что попал в новую атмосферу, до тех пор нигде мне в России не встречавшуюся». Прежде всего «Киев являлся не только административным центром, но и политическим», и «в нём шла, хотя глухая, но заметная для внимательного наблюдателя политическая борьба национальностей». Вместе с тем «в нём живее проявлялось и умственное движение: чувствовалось в городе присутствие не только университета, но и духовной академии, высшего учебного заведения с богатым прошлым и умственными силами далеко не последнего разбора». Любопытно, что об этом говорится в ходе сопоставления Киева с Казанью, «где климат так суров и жизнь так скучна», хотя и там имелась духовная академия (о чём в мемуарах не упоминается). Но на Волге Василий Иванович прожил недолго, а на Днепре пять лет совмещал преподавание в университете и академии и мог их сравнивать. Кроме того, по словам Модестова, «заметна была также умственная деятельность и вне академии и университета — между учителями гимназий, кадетского корпуса и семинарии, в археографической комиссии; видно было, что в городе есть и неофициальные учёные, есть любители местной истории, археологии, и притом люди, для которых наука была важна не только сама по себе, но и как орудие борьбы за свою народность, за сохранение её особенностей» (с. 55–57).

При этом, как отмечал мемуарист, «Киев — город, где сталкиваются различные этнографические особенности, но так, что ни одна из них не может получить преобладающего значения»: «Если одна из них сильнее численно, то другая сильнее культурой, третья поддержкой администрации, четвёртая капиталом и т.д. Поэтому ни одна из этих этнографических разновидностей не считает себя

окончательно побеждённую и продолжает стремиться к борьбе за преобладание. С малых лет здесь человек, окружённый чуждыми элементами, приучается к вражде, ненависти и интриге. Малоросс ненавидит поляка, поляк ненавидит малоросса, оба ненавидят немца и еврея и чувствуют нерасположение к москалю, или кацапу. Вообще в подобных городах, стоящих на границе разных национальностей, население не отличается миролюбивым характером и всегда бывает значительно деморализовано. С врагами, как известно, люди не церемонятся, а житейские приёмы, выработанные для борьбы с враждебными элементами, легко переносятся и во всякую другую сферу деятельности» (с. 60).

Однако всё это производило по меньшей мере двойственное впечатление. Естественно возникало ощущение, «что там живут другие люди, господствуют другие нравы» и «там уроженец северной или средней России не может чувствовать себя вполне дома» (с. 55). Но в то же время это не столько вызывало отчуждение, сколько «интриговало, занимало, подстрекало к более живой деятельности» (с. 57). Сказывалось и особое обаяние древности. «Смотря на Киев, на эти господствующие над Днепром горы, на эти церкви, пережившие многие периоды русской истории, на эти места, освящённые преданием и соединённые воспоминаниями о самых первых временах истории нашего народа», Модестов «буквально упивался новыми и крайне приятными для меня впечатлениями» и «говорил себе: вот город, в котором стоит жить!» (с. 56). Впоследствии он признавался, что «горделивость киевлян историческим значением своего города разом пробудила во мне новгородское сознание, до тех пор совершенно дремавшее»: «Тут мне в первый раз в жизни показалось, что в моём новгородском происхождении есть нечто, так сказать, привилегированное, нечто такое, чего нет, например, у симбирца, самарца, калужанина и даже, пожалуй, москвича, что киевляне могут импонировать своими преданиями кому-нибудь другому, а не мне, кровному сыну земли Великого Новгорода, и что основывающийся на особом ходе истории юго-западной Руси некоторого рода малороссийский сепаратизм может заявлять о себе с бесцеремонностью перед уроженцами центральной или восточной России, чуждой автономических

преданий, а не перед теми, чья родина имела историю, которая постоит за себя не только перед историей Малороссии, но и перед всякой другой областной историей в Европе» (с. 58).

Собственно к украинофильству Модестов относился с почти не скрываемым пренебрежением. Этому, вероятно, способствовало и то, что в феврале 1869 г., через полгода после переезда в Киев, ему пришлось вместе с В.А. Бильбасовым, И.В. Лучицким и др. доказывать на публичном диспуте «крайнюю учёную несостоятельность» М.П. Драгоманова и его магистерской диссертации «Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит» (с. 68–72). Когда же по возвращении Драгоманова из заграничной командировки осенью 1873 г. «стало заметно в Киеве необычайное украинофильское движение», а «в среде профессоров начались препирательства» из-за «пользы и основательности» данного идейного течения, Модестов «не скрывал своего взгляда на всю эту игру в малороссийские гении и их грошовую литературу, смеялся над политическими, иногда очень далеко хватавшими мечтаниями и прямо говорил своим приятелям из этого лагеря, что нелепее поднятого украинофилами движения не знает всемирная история» (с. 86–87).

В письмах к Кистяковскому Модестов выразил своё отношение к украинофильству более обстоятельно. Ещё 12 декабря 1881 г. Василий Иванович упомянул об их давних разногласиях «в вопросе, так сказать, малороссийского сепаратизма, выдуманного — поверьте мне! не только врагами русского государства, но и русского прогресса» (с. 307). 16 августа 1882 г. публицист, принадлежавший тогда к либеральной оппозиции, рассуждал: «Я в этих вопросах ставлю на первый план государственную точку зрения, которой, как она ни кажется некоторым отсталою, никогда не следует упускать из внимания. Русское государство для меня это вопрос не только прошедшего и настоящего, но и будущего, будущего не только нашего или славянского, но и всемирного. С этой точки зрения я и отношусь к малороссийскому или к украинскому вопросу. Мне думается, что такого вопроса и существовать не должно: он создан искусственно, благодаря общей неурядице в нашей политической и общественной жизни. Я не

признаю малороссов отдельным народом ни в этнографическом, ни в политическом, ни в литературном отношении. *Народа* малороссийского, по-моему, нет: есть лишь часть народа русского на Юго-Западе, на Юге и на Юго-Востоке России, говорящая южным наречием великого языка русского, как есть часть народа русского, живущая в северных губерниях России и говорящая северным наречием. Ни та, ни другая часть не составляет тело и не может никогда его составить, как не может его составить и так называемая Белоруссия, хотя и существует отдельное белорусское наречие» (с. 320–321).

Модестов решительно утверждал, что «никакой племенной ненависти между великими малорусскими нет» и «она развивается искусственно в интеллигентских кружках, да и то у одних малороссов: у великороссов же нет решительно и мысли о тех неприязненных отношениях к своим южным соседям, какие стараются развить к великоруссам малороссийские литераторы». У него не было сомнений в том, что «масса южнорусского населения, несомненно, совершенно чужда и чувствам, и стремлениям, вскармливаемым по преимуществу в Киевском университете». «Повторяю, — настаивал Василий Иванович, — племенной ненависти между нами и малорусами не существует, не существовало и не может существовать, так как тут нет отдельных племён, которые могли бы одно другое ненавидеть, а ненависть эта выдумывается в Киеве, в Варшаве, в Кракове, во Львове, по понятным соображениям» (с. 321).

В то же время либеральный публицист приветствовал то, что «малороссы дорожат своими племенными особенностями и хотят сохранить свой язык, предания, отдельные черты». «Чем более будет разнообразия в единстве, тем лучше и для частей, и для целого», — полагал он, критически отзываясь о «глупой политике», при которой «власти наши запрещают концерты из малороссийских музыкальных пьес» (с. 321–322). «Мой принцип в политике таков, — заявлял Василий Иванович, — та политика хороша, которая стремится к сближению, к единению, к соглашению, а не та, которая ищет разделения, разногласия, отделения. Украинofilы держатся этой последней политики. Я её глубоко осуждаю, и когда придётся, буду всегда бороться против неё. Эта

политика может принести пользу только нашим врагам — полякам, немцам и т.д., но уже никак не самим украинofilам и украинским мужикам» (с. 322).

Соответственно Модестов высказывался за полную свободу развития украинской письменности («смотреть на попытки к созданию малороссийской литературы как на политическую опасность может только российская бюрократия нашего печального времени») и одновременно требовал, чтобы в школах, за исключением «начальных училищ», использовался «не местный, деревенский», а только «общий язык всей страны, язык литературный и государственный» (с. 323). Противоречия в этой позиции он явно не усматривал. Более того, он был убеждён в том, что «таков должен быть взгляд русского образованного человека, стоящего на государственной, а не на поэтической или какой-нибудь подобной точке зрения»: «Прежде всего, Россия и русское государство (разумеется, благоустроенное и в полном смысле слова культурное), а затем уже малороссийский язык с его поэзией и малороссийский быт с его волами, салом и варениками. Одно другому не мешает, но нужно, чтобы второстепенное и третьестепенное не выставлялось как первостепенное, нужно, чтобы местная точка зрения не господствовала в политике над общею» (с. 324).

В следующем письме, 1 сентября 1882 г., русский либерал давал украинofilам безжалостную характеристику: «Перебирая в уме лиц, которых я знал в Киеве или видел в других местах, как представителей украинofilской партии, я почти ни в ком из них не вижу ни значительного ума, ни твёрдого характера, ни доброты, ни честности... У этих людей нет ни широты взгляда на задачи народной жизни, ни ясного политического смысла; но зато у них много самолюбия, много ненависти к людям другого прихода, много зависти к уму и таланту в людях не их шайки» (с. 327).

В подобных оценках явно выражался опыт столкновений, происходивших в Киевском университете в 1870-е гг. «Борьба, — вспоминал Модестов в середине 1880-х гг., — это — стихия каждого киевского жителя, имеющего какую-либо физиономию, а тамошняя университетская атмосфера до такой степени накалена ею, что нет и не может быть лица, принадлежащего к университету, которое бы так

или иначе не становилось деятелем борьбы или её жертвою» (с. 60). Друг другу противостояли «две партии» — «немецкая и местная (иначе малороссийская или украинофильская)». «Названия эти не точны, — пояснял мемуарист, — ибо, с одной стороны, к немецкой партии всегда принадлежало немалое количество русских, а с другой — местная партия далеко не включает в себя всех членов местного происхождения, так как многие из сынов Украины стоят по разным, более, впрочем, корыстным, чем бескорыстным, соображениям на стороне её противников» (с. 64). «Немецкая партия», «главные силы которой принадлежали медицинскому факультету», добивалась успеха благодаря «такту, ловкости и общественному значению в городе своих предводителей, единству и дисциплине своих членов». И поэтому «местная, или малороссийская, партия, обыкновенно небогатая ни умственными силами, ни дисциплиной своих членов, партия, принимающая по временам резко украинофильский характер, нередко в значительной степени поддерживается людьми, не имеющими никакой особенной связи с Киевом и ничего общего с украинофильством, но считающими необходимым пользоваться её услугами, чтобы сдерживать влияние немецкой партии». Именно «эта третья категория киевских профессоров, не составляющая никакой партии» и включавшая преимущественно «бывших воспитанников других русских университетов», и обеспечивала перевес той или иной стороне (с. 64—65).

Но каждая из этих групп преследовала исключительно личные цели, нередко действуя «вопреки всякой справедливости, а прямо в ущерб интересам университета». Ещё в начале 1870-х гг. Модестов констатировал, что «в Университете св. Владимира на решениях большинства профессоров интересы науки и преподавания играют наименьшую роль, а всё, напротив, отдаётся в жертву интриге» (с. 76). А «до какой ожесточённости могут доходить университетские столкновения, это ни один университет не показал в такой степени, как киевский» (с. 61).

Мемуары Модестова ярко показывают целую вереницу конфликтов, возникавших в условиях предоставленной университетам в 1863 г. автономии. Все они в большей или меньшей степени свидетельствовали о том,

что профессорам редко удавалось наладить конструктивные отношения в собственном кругу и поддерживать порядок среди студентов. Характерно, что об этом писал не сторонник «Московских ведомостей», а либеральный сотрудник «Голоса». Неудивительно, что ещё в 1873 г. он счёл «весьма рациональными» «некоторые мысли» Н.А. Любимова, выступившего с критикой устава 1863 г. (с. 298—299). Не менее любопытно, что, по словам Модестова, в начале 1880-х гг. Бильбасов и Градовский вполне разделяли его мнение об университетских порядках, но предпочитали «умалчивать об их недостатках» (с. 310—311).

Так или иначе, воспоминания Модестова убеждают в том, что проблемы, с которыми сталкивались русские университеты пореформенного времени, отнюдь не сводились к различию «либеральных» и «консервативных» («прогрессивных» и «реакционных») идей или же к спорам их последователей. Личного, «партийного», корпоративного и регионального в них могло оказаться значительно больше, чем специфически идеологического. И едва ли возможно объяснить их, как это делают публикаторы, тем, что «полицейско-охранительная система самодержавия искорёжила души этих представителей учёного сословия, превратив последних в своекорыстных, рептильных чиновников» (с. 12). Описанные Модестовым эпизоды заставляют усомниться и в категоричной оценке устава 1884 г. как «контрреформенной катастрофы российских университетов» (с. 12). Издержки отменённой тогда автономии были всё же слишком велики.

Вместе с тем книга помогает понять, как русские профессора второй половины XIX в. воспринимали не только отечественные, но и европейские реалии. «Заграничные воспоминания» Модестова передают и обобщают его впечатления от научных командировок и путешествий 1860—1880-х гг. по Германии, Италии и Франции (с. 101—180). При этом нельзя не заметить, что для мемуариста Россия и Европа, при всех их различиях, составляли некое единое пространство. Так, Казань представлялась ему «тогда как бы Ultima Thule образованного мира», где действовал «самый восточный университет в Старом свете», «находящийся, так сказать, на границах Европы с Азией» (с. 43, 53). Но и там молодого доцента

встречала «вполне сложившаяся, академическая жизнь, какую я находил в провинциальных германских университетах, но до которой ещё далеко было Одессе» (с. 47).

Свои «заграничные» наблюдения Модестов излагал, не придерживаясь строго хронологической последовательности событий. Но данную книгу вообще лучше читать не подряд. Поскольку воспоминания Василия Ивановича представляют собой не единый текст с общим замыслом, а ряд самостоятельных очерков, составители расположили их по степени значимости — в начале те, в которых рассказывается о его преподавании в Одессе, Казани и Киеве, затем — о поездках в Европу, далее помещены несколько биографических зарисовок, письма и приложения. Однако если читатель захочет проследить жизненный путь автора, то чтение нужно начать со статей о Н.М. Благовещенском, Н.А. Добролюбова и В.Г. Васильевском (с. 183–256). В них раскрывается обстановка конца 1850-х — начала 1860-х гг., атмосфера Главного педагогического института и Петербургского университета. После этого имеет смысл познакомиться с «Заграничными воспоминаниями» и тогда уже погружаться в профессорские истории 1865–1877 гг. Особый интерес, безусловно, вызывают 44 письма Модестова, которые отчасти позволяют сравнить суждения 1870-х гг. с позднейшими мемуарными оценками, а отчасти освещают петербургский период его деятельности. Вполне оправданно и решение публикаторов напечатать в виде приложения к основному тексту вступительную лекцию по римской словесности, прочитанную Модестовым в Киеве 18 сентября 1869 г., его статью «Будущее средней школы, классицизм и учителя», впервые вышедшую в «Голосе» 2 августа 1880 г., и некролог, написанный И.В. Цветаевым и удачно дополняющий предисловие составителей.

Но насколько бы ценной ни была данная публикация воспоминаний и писем Модестова, видимо, в наше время ни одно издание не обходится без тех или иных небольших курьёзов. Так, в рассказе об Одессе в 1865 г. мемуаристом упоминаются «доценты Леонтович и Вольский, из которых первый уже заявил себя до этого времени дельными работами из истории русского права („Литовский статут“), а последний большим трудом по политической экономии („Об обработке земли

крестьянами собственниками”))» (с. 28). К этим словам без каких-либо пояснений даны две сноски: «Леонтович Ф.И. Древнее хорватско-деламатское законодательство. Одесса, 1868» (досадная опечатка в слове «хорвато-далматская» на совести издательского корректора) и «Вольский М.М. Рабская обработка земли. Одесса, 1869». Почему комментаторы решили указать именно эти работы, написанные в иное время и на другую тему, сказать трудно. Модестов же явно имел в виду серию статей Леонтовича «Русская правда и Литовский статут в видах настоятельной необходимости включить литовское законодательство в круг истории русского права»¹, а также, возможно, его «рассуждение *pro venia legendi*», названное «Крестьяне Юго-западной России по литовскому праву XV и XVI столетий» и опубликованное в Киеве в 1863 г., и книгу Вольского «Историческое и народно-хозяйственное значение обработки крестьянами-собственниками» (М., 1865).

В довольно просторном комментарии о М.Л. Магницком и его деятельности на посту попечителя Казанского учебного округа (с. 53–54) публикаторы ссылаются исключительно на обзорную работу М.К. Корбута «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина за 125 лет», вышедшую в Казани в 1930 г. и проникнутую вполне определённым отношением к царизму, его политике и слугам. Можно только сожалеть о том, что при этом не учтены более современные работы, в которых данный сюжет рассмотрен гораздо более подробно и взвешенно².

11 июня 1872 г. Модестов иронично спрашивал в письме Иконникова, «не дали ль Линниченко Андреевской ленты?». По словам комментаторов, ирония объяснялась тем, что действительному статскому советнику Линниченко «оставалось только получить орден Св. Андрея Первозванного, который считался в России самым престижным» (с. 286). Между тем действительный статский советник мог быть награждён этим орденом примерно с такой же вероятностью, как действительный студент занять профессорскую кафедру. Собственно в этом и заключалась шутка.

В письме Модестова к Иконникову, датированном 16–18 октября 1872 г., по мнению комментаторов, «речь идёт о наступлении министра народного просвещения

Д.А. Толстого на демократические принципы университетского устава 1863 г. и о намерении организовать его пере-смотр». Между тем «киевские профессора, как и профессора других университетов, не спешили осуждать устав 1863 г. и при обсуждении министерского проекта предлагали к рассмотрению второстепенные вопросы» (с. 290). Действительно, как и писал Модестов, «относительно перемены устава комиссия составила ответ в таком смысле, что нужно увеличить хоть пенсию, если нельзя в то же время увеличить и жалования». Факультет хотел ещё «прибавить жалования профессору педагогики», но по настоянию Модестова «ответ был изменён на более приличный» (с. 290–291). При этом всё «наступление» гр. Толстого «на демократические принципы» сводилось к рассылке циркуляра, в котором советам университетов предлагалось представить свои соображения о желательных изменениях в уставе³. Никакого «министерского проекта» ещё не существовало, его подготовка, в том числе и вследствие позиции профессуры, затянулась до конца 1870-х гг. Об этом тем более следовало упомянуть, поскольку 22 октября Модестов отметил: «До сих пор упорно держится слух о том, что реформа университетского устава собственно уже готова и лежит в портфеле министра и что запрос университетов сделан только для блезиру» (с. 291).

27 октября 1876 г. Модестов сообщал из столицы Лучицкому: «Петербург живёт ещё военным вопросом: в мир не верят. Приготовления к войне продолжают». Как отмечают комментаторы, «имеется в виду подготовка к русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и Рейхштадтское соглашение, подписанное 26 июня 1876 г.» (с. 301). Но откуда киевский профессор мог узнать о личных договорённостях Александра II с Францем Иосифом, державшихся тогда в строжайшем секрете и, как известно, не «подписывавшихся», а сохранившихся в двух существенно различавшихся записях, сделанных русскими и австрийскими дипломатами? А вот «перемирие», о неожиданности которого писал Модестов, не комментируется вовсе, как и рассуждения о том, «до какой степени война считалась в правительственных кругах делом решённым» (с. 301).

Отсутствует и комментарий о Деляновской комиссии и роли в её деятельности А.И. Георгиевского, особенно раздражавшего Модестова (с. 301–302).

Комментируя возобновление в январе 1882 г. выхода «Голоса», выпуск которого ранее был приостановлен на полгода цензурой, и появившиеся в первом номере материалы, публикаторы отмечают: «Действительно, благодаря статьям А.Д. Градовского, В.И. Модестова и других “Голос” вступил в борьбу с охранителями и противопоставил идее “твёрдой власти” Д.А. Толстого требование “правового порядка”. Расхождение “Голоса” с официальной точкой зрения вызвало его окончательное закрытие в 1884 г.» (с. 309). Создаётся впечатление, будто редакция заранее вступила в борьбу с гр. Толстым, который возглавил МВД только в мае 1882 г., а до того с апреля 1880 г. состоял лишь одним из членов Государственного совета и не имел какого-либо влияния на дела. Кстати, фактически издание «Голоса» прекратилось ещё в феврале 1883 г.

Несколько странно комментируется убийство народниками киевского военного прокурора генерал-майора В.С. Стрельникова, который будто бы отличался «излишней суровостью при вынесении смертных приговоров» (с. 311). Однако приговоры выносил всё же не прокурор, а суд, после чего они утверждались генерал-губернатором. Стрельников, руководивший всей следственной частью по политическим преступлениям, серьёзно мешал организации революционного подполья, за что и был убит. В комментарии же чувствуется неловкая попытка косвенно оправдать террористов, как это делалось в советской историографии.

Ещё более удивительная формулировка встречается в комментарии про показательный суд во Львове над А. Добрянским, О. Грабарь и др., которых австрийские власти обвиняли в государственной измене и панславизме. Прокурор требовал вынесения смертного приговора, но обвинение провалилось из-за полной бездоказательности, и подсудимые отделались несколькими месяцами тюремного заключения⁴. Модестов активно поддерживал в печати галицийских русофилов. Комментаторы же пишут: «На этом процессе москвофилы продемонстрировали национальную

и политическую беспринципность, что помог-
ло народам укрепить свои политические
позиции» (с. 319). К сожалению, смысл этой
фразы никак не поясняется.

Конечно, отдельные неудачные выраже-
ния не снижают значения высокопрофессио-
нального издания. Оно, безусловно, послужит
широкому кругу историков и, хочется наде-
яться, тем, кто займётся подготовкой специ-
ального исследования, посвящённого науч-
ной, педагогической и публицистической де-
ятельности В.И. Модестова. В ценности
и необходимости такого труда нет никаких
сомнений.

Пётр Гордеев

Особенности юбилейного издания: Сборник протоколов и постановлений Кронштадтского совета 1917 г.*

Petr Gordeev

(The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg)

Particular features of a jubilee edition: The collection of minutes and decisions of Kronstadt Soviet of 1917

Издание сборника протоколов Крон-
штадтского совета рабочих и солдатских де-
путатов, осуществлённое к столетию рево-
люции Российским государственным архи-
вом военно-морского флота (РГАВМФ),
имеет давнюю предисторию. Впервые идея
публикации документов этого революцион-
ного органа, сыгравшего заметную роль
в политической драме 1917 г. («кронштад-
ская республика» в мае, участие кронштадт-
цев в июльских и октябрьских событиях
в Петрограде), появилась ещё в начале
1930-х гг. (а не в 1964 г., как утверждает
Л.И. Спиридонова в «Археографическом
предисловии» к сборнику (с. 3)) в Институте
советского строительства и права¹. Однако
ни в то время, ни в 1960–1970-е гг., когда та-
кая возможность вновь активно обсуждалась,
выпустить подготовленный сотрудниками
архива текст так и не удалось. Причины

Примечания

¹ Киевские университетские известия. 1865.
№ 2–4.

² См., в частности: *Минаков А.Ю.* «Погром»
или ревизия? // Консерватизм в России и мире.
Ч. 3. Воронеж, 2004. С. 122–125; *Минаков А.Ю.*
Михаил Леонтьевич Магницкий // Против тече-
ния: исторические портреты русских консерва-
торов первой трети XIX столетия. Воронеж, 2005.
С. 267–307.

³ *Рождественский С.В.* Исторический обзор
деятельности Министерства народного просве-
щения. 1802–1902. СПб., 1902. С. 503.

⁴ Подробнее см.: *Шевченко К.В.* Славянская
Атлантида: Карпатская Русь и русины в XIX –
первой половине XX в. М., 2011. С. 89–90.

этого, к сожалению, в вышедшем в свет
сборнике не указаны. И теперь, готовясь
к столетию революции, Федеральное архив-
ное агентство «предложило РГАВМФ вер-
нуться к неизданной рукописи и подгото-
вить новый текст с учётом проделанной ра-
нее работы, современных исследований
в области истории революционного движе-
ния в России и требований в области архео-
графии» (с. 4).

С поручением «учесть современные ис-
следования» составители сборника, к сожа-
лению, не справились. Авторы коммента-
риев к документам ссылаются преимуще-
ственно на труды советских историков
1940–1960-х гг. и ленинские работы. Между
тем в начале XXI в. история Кронштадтско-
го совета в 1917 г. освещалась не только
в ряде статей, но и в диссертации, основан-
ной на материалах 17 архивов и рукописных

* Кронштадтский Совет в 1917 году. Протоколы и постановления. Т. 1: Март–июнь 1917 г.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. 576 с.